

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Анна Каренина



Библиотека Всемирной Литературы

Лев Толстой
Анна Каренина

«ЭКСМО»

1878

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Толстой Л. Н.

Анна Каренина / Л. Н. Толстой — «Эксмо», 1878 — (Библиотека
Всемирной Литературы)

ISBN 978-5-04-107917-8

«Анну Каренину» Толстой называл «романом широким и свободным». В основе этого определения пушкинский термин «свободный роман». Не фабульная завершенность положений, а творческая концепция определяет выбор материала и открывает простор для развития сюжетных линий. Роман «широкого дыхания» привлекал Толстого тем, что в «просторную, вместительную раму» без напряжения входило все то новое, необычайное и нужное, что он хотел сказать людям.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-107917-8

© Толстой Л. Н., 1878
© Эксмо, 1878

Содержание

Роман «Широкого дыхания»	5
Часть первая	15
I	15
II	17
III	19
IV	22
V	25
VI	30
VII	32
VIII	34
IX	36
X	40
XI	44
XII	47
XIII	50
XIV	52
XV	56
XVI	58
XVII	60
XVIII	62
XIX	66
XX	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Лев Толстой

Анна Каренина

Роман «Широкого дыхания»

«Анна Каренина» поразила современников «вседневностью содержания». Необычайная свобода, раскованность повествования удивительно сочетались в этом романе с цельностью художественного взгляда автора на жизнь. Он выступал здесь как художник и мыслитель и назначение искусства видел «не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (61, 100).¹

В 70-е годы один маститый писатель (по-видимому, Гончаров) сказал Достоевскому: «Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе – кто представит хоть что-нибудь подобное?»² Ф.М. Достоевский находил в новом романе Толстого «огромную психологическую разработку души человеческой», «страшную глубину и силу» и, главное, «небывалый доселе у нас реализм художественного изображения».³

Время подтвердило эту высокую оценку. Из статей и книг на всех языках мира, посвященных «Анне Карениной», можно составить целую библиотеку. «Я без колебаний назвал „Анну Каренину“ величайшим социальным романом во всей мировой литературе»,⁴ – писал Томас Манн.

Значение романа Толстого состоит не в эстетической ценности отдельных картин, а в художественной завершенности целого.

1

«Войну и мир» Толстой называл книгой о прошлом. В начале 1865 года он просил редактора журнала «Русский вестник» М.Н. Каткова в оглавлении и даже в объявлении не называть его сочинение романом: «...для меня это очень важно, и потому очень прошу вас об этом» (61, 67). Толстой мог бы обосновать свое определение жанра («книга») ссылкой на Гегеля, которого он внимательно перечитывал в годы работы над «Войной и миром». Гегель называл книгой эпические произведения, связанные с «целостным миром» определенного народа и определенной эпохи. Книга, или «самобытная эпопея», дает картину национального самосознания «в нравственных устоях семейной жизни, в общественных условиях состояния *войны и мира* (курсив наш. – Э.Б.), в его потребностях, искусствах, обычаях, интересах...».⁵

«Анну Каренину» Толстой называл романом из современной жизни. В 1873 году, только еще начиная работу, он говорил Н.Н. Страхову: «...роман этот – *именно роман* (курсив наш. – Э.Б.), первый в моей жизни, очень взял меня за душу, и я им увлечен весь» (62, 25).

Эпоха Отечественной войны позволила Толстому изобразить в «Войне и мире» жизнь русского народа великой эпохи как «целостный мир», прекрасный и возвышенный. «Я художник, – пишет Толстой, размышляя над событиями 1812 года, – и вся жизнь моя проходит в

¹ Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 тт. М., Гослитиздат, 1927–1964. Здесь и в дальнейшем в скобках указываются том и страница.

² Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 11. СПб., 1895, с. 245.

³ Там же, с. 248.

⁴ Томас Манн. Собр. соч., т. 10. М., 1961, с. 264.

⁵ Гегель. Сочинения, т. XIV. М., 1958, с. 241.

том, чтобы искать красоту» (15, 241). Общественный подъем 60-х годов, когда в России было уничтожено рабство крестьян, наполнял и автора «Войны и мира» чувством духовной бодрости и веры в будущее. В 70-е же годы, в эпоху глубокого социального кризиса, когда написана «Анна Каренина», мироощущение Толстого было иным. «Все врознь» – так определил сущность пореформенной эпохи Ф.М. Достоевский. Толстой видел перед собой «раздробленный мир», лишенный нравственного единства. «Красоты нет, – жаловался он, – и нет руководителя в хаосе добра и зла» (62, 25).

Если в «Войне и мире» преобладает нравственная целостность и красота, или поэзия, то для «Анны Карениной» становится характерным раздробленность и хаос, или проза. После «Войны и мира», с ее «всеобщим содержанием» и поэтической простотой, замысел «Анны Карениной» казался Толстому «частным», «не простым» и даже «низменным» (62, 142).

Переход от «Войны и мира» к «Анне Карениной» имеет историческое, социальное и философское обоснование. В романе, в отличие от «книги», как об этом писал Гегель, «отсутствует самобытное поэтическое состояние мира»: «роман в современном значении предполагает прозаически упорядоченную действительность».⁶ Однако здесь «снова полностью выступает богатство и разнообразие интересов, состояний, характеров, жизненных отношений, широкий фон целостного мира, равно поэтическое изображение событий».⁷ Круги событий в романе по сравнению с «самобытной эпикей» уже, но познание жизни может проникать глубже в действительность. У романа как художественной формы есть свои законы: «завязка, постоянно усложняющийся интерес и счастливая или несчастливая развязка» (13, 54). Начав с того, что «все смешалось в доме Облонских», Толстой рассказывает о разрушении дома Карениных, о смятении Левина и наконец приходит к тому, что во всей России «все перевернулось»... «Усложняющийся интерес» выводит сюжет романа за пределы «семейной истории».

В «Анне Карениной» не было великих исторических деятелей или мировых событий. Не было здесь также лирических, философских или публицистических отступлений. Но споры, вызванные романом, сразу же вышли за пределы чисто литературных интересов, «как будто дело шло о вопросе, каждому лично близком».⁸ Толки о романе Толстого сливались с злободневными политическими известиями. «О выходе каждой части Карениной, – отмечал Н.Н. Страхов, – в газетах извещают так же поспешно и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка».⁹

«Роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен», – говорил Толстой в самом начале работы (62, 16). В последующие годы он иногда охладевал к своему роману. Но замысел «живой, горячий и законченный» вновь и вновь завладевал его воображением. А когда наконец труд многих лет был окончен, Толстой признался, что «общество, современное „Анне Карениной“, ему гораздо ближе, чем общество людей „Войны и мира“, вследствие чего ему легче было проникнуться чувствами и мыслями современников „Анны Карениной“, чем „Войны и мира“. А это имеет громадное значение при художественном изображении жизни».¹⁰ В этом и состоит «вседневность» содержания толстовского романа «из современной жизни».

Замысел Толстого, который он вначале называл «частным», постепенно углублялся. «Я очень часто, – как бы оправдываясь, признавался Толстой, – сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается».¹¹ И успех романа оказался громад-

⁶ Гегель. Сочинения, т. XIV. М., 1958, с. 273.

⁷ Там же.

⁸ «Переписка Л.Н. Толстого с А.А. Толстой». СПб., 1911, с. 273.

⁹ «Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым». СПб., 1914, с. 116.

¹⁰ В.И. Алексеев. Воспоминания. – «Летописи Государственного литературного музея», кн. 12. М., 1948, с. 259.

¹¹ «Литературное наследство», т. 37–38. М., 1939, с. 426.

ным; его читали во всех кругах образованного общества. И вскоре выяснилось, что «Анна Каренина» была встречена с осуждением в «высших сферах». М.Н. Катков решительно отказался печатать в «Русском вестнике» эпилог романа и «опустил перед Толстым шлагбаум». Уже тогда начиналось то отчуждение от дворянского высшего круга, которое позднее, после «Воскресения», привело к осуждению Толстого и отлучению его от церкви.

М.Н. Катков, лидер реакционной журналистики 70-х годов, тонко почувствовал острую критическую мысль Толстого и стремился всеми силами нейтрализовать впечатление, произведенное на современников «Анной Карениной». Но дело уже было сделано: Толстой высказался и облегчил свою совесть. Н.С. Лесков с тревогой отмечал, что за «Анну Каренину» Толстого дружно ругают «настоящие светские люди», а за ними «тянут ту же ноту действительные статские советники».¹²

Изображение «золоченой молодежи» в лице Вронского и «сильных мира сего» в лице Каренина не могло не вызвать негодования. Сочувствие народной жизни, воплощенное в Левине и в картинах крестьянского быта, также не пробуждало восторга у «настоящих светских людей». «А небось чувят они все, – писал Толстому Фет, – что этот роман есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни».¹³

2

Толстой был уверен, что изменится «весь строй жизни». «Наша цивилизация... идет к своему упадку, как и древняя цивилизация»,¹⁴ – говорил он. Это ощущение приближающихся коренных перемен в жизни дворянского общества постепенно нарастает в его творчестве по мере приближения первой русской революции. Уже в «Анне Карениной» появляются характерные черты кризисной исторической метафоры, которую Толстой повторял много раз и в своих публицистических высказываниях.

Красносельские скачки были «жестоким зрелищем». Один из офицеров упал на голову и разбился запертво – «шорох ужаса пронесся по всей публике». «Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: „Недостает только цирка с львами“. Здесь появляется и Гладиатор – конь Махотина. Одна из зрительниц обмолвилась знаменательными словами: „Если бы я была римлянка, то не пропустила бы ни одного цирка“.

«Жестокое зрелище», напоминавшее о римских ристалищах и цирках, было устроено для развлечения двора. «Большой барьер, – пишет Толстой, – стоял перед самой царской беседкой. Государь, и весь двор, и толпы народа – все смотрели на них».

К той же метафоре относятся и упоминания о Сафо, светской львице, в кружке которой проводит свои вечера Анна, и «афинские вечера», которые посещает Вронский.

Из разрозненных подробностей в романе Толстого возникает цельная картина «современного Рима эпохи упадка цивилизации». Это отношение к современности было характерно не только для Толстого, но и для многих мыслителей и публицистов его эпохи.

«Трудно подойти близко к истории древней Римской империи без неотвязчивой мысли о возможности найти в этой истории общие черты с европейской современностью, – говорилось в 1876 году в журнале „Вестник Европы“. – Эта мысль пугает вас ввиду тех ужасающих образов, в которых олицетворилось для вас глубокое нравственное падение древнего мира».¹⁵

И еще одна особенность «эпохи упадка» не проходит мимо внимания Толстого: самоубийства. Газеты тех лет были наполнены сообщениями и описаниями необыкновенных про-

¹² Н.С. Лесков. Собр. соч., т. 10. М., 1958, с. 389.

¹³ «Литературное наследство», т. 37–38, с. 220.

¹⁴ Н.Н. Гусев. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1928, с. 190.

¹⁵ «Вестник Европы», 1876, № 1, с. 374–375.

исшествий в городах и на железных дорогах. «В последние годы, – отмечал Гл. Успенский, – мания самоубийства черной тучей пронеслась над всем русским обществом».¹⁶ В романе «Анна Каренина» эта туча отбрасывает грозную тень на Анну, Вронского и Левина. Каждый из них так или иначе проходит через грань последнего отчаяния. Вронский стреляется, но неудачно. Левин прячет от себя шнурок, чтобы не свести счеты с жизнью в тайне своей библиотеки. Анна кончает жизнь на станции Обираловка под колесами товарного поезда. От жестоких зрелищ в Красном Селе до гибели на глухой железнодорожной станции – один шаг. «Самоубийцы и восклицания: „Хлеба и зрелищ!“ навели меня на мысль, – писал Н.К. Михайловский, – сопоставить наше время со временем упадка Рима».¹⁷

Николай Левин, объясняя своему брату Константину, что цель русской революции состоит в том, чтобы «вывести народ из рабства», сравнивает революцию с духовным движением, ознаменовавшим конец Рима: «все это разумно и имеет будущность, как христианство в первые века». Такого рода идеи были весьма характерны для революционеров-народников 70-х годов XIX века. Острая социальная критика принимала формы проповеди в духе «христианства первых веков», решительного отрицания «языческого строя жизни». «Пусть каждый поклянется в сердце своем, – писал один из активных деятелей той поры, – проповедовать братьям своим всю правду, как апостолы проповедовали».¹⁸ Семидесятники, как отмечал другой писатель той же эпохи, были «похожи на тех исповедников, которые в первые времена христианства выходили возвещать добрую весть и так горячо верили, что умирали за свою веру».¹⁹

Толстой с большим вниманием относился к этим идеям. Его герой Константин Левин тоже размышляет над тем, что ему сказал брат Николай: «...разговор брата о коммунизме... заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». И впоследствии, уже накануне 1905 года, беседуя с рабочими Прохоровской мануфактуры, признавая, что «нужна революция и не буржуазный строй, а социалистический», Толстой утверждал: «Все зло, о котором вы говорите, все это неизбежное последствие существующего у нас языческого строя жизни».²⁰

Толстой неразрывно связан со своей эпохой, что отражается и на содержании, и на форме его излюбленных идей. Но религиозная форма толстовских идей никогда не заслоняла от современников социального смысла его творчества. Он писал «Анну Каренину» в годы глубокой переоценки ценностей. Деятели освобождения, боровшиеся против крепостного права, благородные и мужественные шестидесятники, верили в возможность и необходимость уничтожения рабства, у них были силы для борьбы и ясное сознание целей, они не задумывались над тем, как сложатся пореформенные условия, ограничиваясь расчисткой пути для европейского развития. В 70-е годы положение изменилось. Десять лет реформы показали, что крепостничество крепко укоренилось и уживается с новыми формами буржуазного стяжания. Прежней веры в пути и средства борьбы уже не было. Устои нового времени оказались непрочными. Появилась та черта общественного сознания, которую Блок метко определил как «семидесятническое недоверие и неверие».²¹ Эту черту общественного сознания Толстой уловил в психологии современного человека, и она вошла в его роман как характерная примета переходного времени. «Под угрозой отчаяния» – вот одна из важнейших формул романа «Анна Каренина», изобилующего нравственными формулами. Сочувствие Толстого на стороне тех

¹⁶ «Отечественные записки», 1877, № 6, с. 575.

¹⁷ Там же, 1875, № 3, с. 114.

¹⁸ С.М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч., т. 2. М., 1958, с. 229.

¹⁹ «Семидесятники». М., 1935, с. 252.

²⁰ «Летописи Государственного литературного музея», т. 12. М., 1948, с. 407.

²¹ А. Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М. – Л., 1962, с. 236.

героев, которые живут в смутной тревоге и беспокойстве, которые ищут смысла событий, как смысла жизни. Он и сам тогда жил «под угрозой отчаяния».

«Все смешалось» – формула лаконичная и многозначная. Она представляет собой тематическое ядро романа и охватывает и общие закономерности эпохи, и частные обстоятельства семейного быта. Толстой в «Анне Карениной» как бы вывел художественную формулу эпохи. «У нас теперь, когда все это переверотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся условия, есть единственный важный вопрос в России...» Вот общая мысль, которая определяет и сюжет, и композицию романа, а также сущность перевала русской истории – от падения крепостного права до первой русской революции.

3

В романе Толстого все было современным: и общий замысел, и подробности. И все, что попадало в поле его зрения, приобретало обобщенный, почти символический характер. Например, железная дорога. Она была в те годы великим техническим новшеством, переверотившим все привычные представления о времени, пространстве и движении. Жизнь героев романа «Анна Каренина» так или иначе связана с железной дорогой. Однажды утренним поездом в Москву приехал Левин. На другой день, около полудня, из Петербурга приехала Анна Каренина. «Платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса...» Никто не мог теперь обойтись без железной дороги – ни светская дама из столицы, ни усадебный помещик.

Железнодорожные станции с расходящимися в разные стороны лучами стальных путей были похожи на земные звезды. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, Анна Каренина с отвращением глядела на входивших и выходивших – «все они были противны ей». Какая-то всеобщая разобщенность вокзальной толпы производила на современников горькое впечатление. Вспоминалась даже «звезда Полюнь» из Апокалипсиса, которая упала «на источники» и отравила воды (гл. 8, ст. 10–11).

Один из героев романа Достоевского «Идиот» называет «сеть железных дорог, распространившихся по Европе», «звездой Полюнь».²² Это звезда Вронского. Он в романе Толстого вечный странник, человек без корней в почве. «Я рожден цыганом, – говорит он, – и умру цыганом». Это один из толпы цивилизованных кочевников. В первый раз Анна Каренина увидела его на Московском вокзале. И в последний раз Кознышев встретил его там же, когда он уезжал добровольцем в Сербию. «В косо́й вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто, в надвинутой шляпе, с руками в карманах, ходил, как зверь в клетке, на двадцати шагах быстро поворачиваясь». И его объяснение с Анной произошло на какой-то глухой станции во время метели. Анна отворила дверь поезда – «...метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили о двери». Это был удивительный спор с какой-то бездомной стихией, которая охватывает Вронского и Анну. Именно из метели и ветра возникает фигура Вронского на станции. Он заслоняет собой свет фонаря. «Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз». «Ужас метели» казался тогда Анне Карениной «прекрасным», но уже «впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза». «Звезда Полюнь» вошла над ее судьбой.

Анна Каренина всякий раз оказывается на вокзале как бы случайно. В первый раз она села в поезд, чтобы поехать в Москву помирить своего брата Стиву Облонского с женой. И только случайная гибель сцепщика под колесами паровоза была «дурным предзнаменова-

²² Ф.М. Достоевский. Собр. соч., т. 6. М., 1957, с. 421.

нием». В последний раз она приехала на станцию Обираловка, чтобы разыскать там Вронского и примириться с ним. Но уже не нашла его... Лишь «мужичок, приговаривая что-то, работал над железом». Это и была смерть Анны Карениной, когда она вдруг «почувствовала невозможность борьбы». Уже первая ее поездка, с «прекрасным ужасом метели», предвещала разрушение ее семьи. С Вронским она стала бездомной, путешественницей. Она едет в Италию, мечется между Петербургом, где остался ее сын Сережа, именем Вронского Воздвиженское, где она даже в комнате своей дочери была «как лишняя», и Москвой, где она надеялась найти разрешение своей участи. Она постепенно теряет всех и все: мужа, сына, возлюбленного, надежду, память. «Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров и, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена была делать...» Рельсы расходятся в разные стороны, как холодные лучи «звезды Полюнь». Жизнь обирает ее, и она ничего не в силах удержать. Она потеряла не только близких, не только «точку опоры», она потеряла себя. Таков и был замысел Толстого: «...ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой...».²³

Сама того не желая, Анна всем приносит несчастье. И Каренину, который говорит: «я убит, я разбит, я не человек больше», и Вронскому, который признается: «как человек – я развалина», и самой себе: «была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я», – восклицает она. И то, что она бросается поперек дороги под колеса неумолимо надвигающегося на нее вагона, тоже получило в романе символический смысл. Конечно, смысл трагедии не в самой железной дороге... Но «звезда Полюнь» заключала в себе такой заряд современной поэзии, что Толстой, как поэт и романист, не мог пренебречь ее художественными возможностями.

И Каренин становится постоянным пассажиром, когда разрушилась его семья. Он ездит из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург как бы по делам службы, заполняя внешней суетой образовавшуюся душевную пустоту. Он ищет не деятельности, а рассеяния. Анна Каренина называла своего мужа «злой министерской машиной». Он не всегда был таким, ему не была чужда человечность. Но некоторая «машинальность» его привычек и убеждений прекрасно согласовалась с законами «звезды Полюнь». Во всяком случае, и в вагоне поезда он чувствует себя одним из «сильных мира сего», столь же сильным и «регулярным», как сама эта железная дорога, которая в конце концов погубила Анну Каренину.

В жизни Стивы Облонского не было крутых переломов или катастроф, но вряд ли кто-нибудь из героев романа ощущал с такой остротой всю тяжесть «переворотившейся жизни». «Без вины виноват», – говорит о себе Облонский. «Жизнь вытесняет праздного человека», – объясняет Толстой. Облонскому ничего не остается, как обратиться к той же «звезде Полюнь». Потомок древнего рода, рюрикович, он входит в круг «железнодорожных королей» и надеется получить место в обществе «взаимного баланса южно-железных дорог»... «Взаимный баланс» эпохи был не в пользу Облонского и всего уклада привычной, «наследственной» и «праздной» жизни. Когда Облонский узнал, что поезд, на котором приехала Анна, раздавил сцепщика, он в смятении побежал к месту происшествия и потом, страдая, морщась, готовый заплакать, все повторял: «Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас!» Сцепщик этот был простой мужик, может быть, из его разоренного владения, пустившийся искать счастья на тех же путях, что и его барин. Толстой упорно называет сцепщика мужиком. И Анна увидела его во сне, в вагоне поезда, на обратном пути в Петербург. «Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно закрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась...» Не поезд, а сама эпоха уносила, разлучала, подавляла и раздирала кого-то. Железная

²³ «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860–1891». М., 1928, с. 32.

дорога у Толстого – не только подробность современной жизни, но и глубокая символическая реальность.

Левина, ворвавшегося в полушубке в купе первого класса, где удобно расположился Каренин, едва не выпроводил кондуктор. И Левин «поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок». Сцена эта вполне в духе 70-х годов. «Никто, отправляясь в путь, не может быть уверен, – писал обозреватель „Отечественных записок“, – что его... не высадят где-нибудь на дороге... с каждым пассажиром не только каждый начальник станции, но и каждый обер-кондуктор, даже кондуктор распоряжается, как с принадлежащей ему вещью».²⁴ Статья заканчивалась именно теми словами, которые сказал Каренин: «До сих пор не существует никаких правил, которые бы определяли права пассажиров».

Соль этого эпизода состоит именно в том, что «звезда Полюнь» его, Левина, не принимает. Если тема Анны Карениной ярче всего воплощена в зимней метели на глухой станции, то тема Левина сливается с музыкой мощной весенней грозы, когда он вдруг ощутил присутствие нравственного закона в своем сердце и увидел живые вечные звезды над своей головой. При каждой вспышке молнии звезды исчезали, а потом, «как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах».

4

«Мне теперь так ясна моя мысль, – говорил Толстой в 1877 году, завершая работу над романом. – Так, в „Анне Карениной“ я люблю мысль семейную, в „Войне и мире“ любил мысль народную вследствие войны 1812 года...».²⁵ Конечно, и в «Войне и мире» есть «семейная хроника», и в «Анне Карениной» есть «картины народной жизни». Но для каждого романа нужна была своя, особенная любовь. «Мысль семейная» для 70-х годов XIX века особенно актуальна. «Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, – признавался Ф.М. Достоевский, – молодое поколение, и вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад».²⁶

Толстой видел несомненную связь между разрушением социальных основ современного дворянского общества, построенного на традициях наследственности и преемственности, и распадом семейных устоев. Не только семья Каренина, но и семья Облонского разрушается на глазах. Один Левин сравнивает себя с весталкой, хранительницей огня. Облонскому даже сам обычай венчания в церкви кажется нелепым: «Как это глупо, этот старый обычай кружения, „Исаия, ликуй“, в который никто не верит и который мешает счастьем людей!»

«Старый обычай» был основан на идее нерасторжимости брака. Этой точки зрения придерживается в романе Каренин. Он не в состоянии найти достаточный повод для того, чтобы дать развод Анне, потому что мыслит по-старому. Вместо развода он предлагает ей прощение. И тем самым «мешает счастьем»... Со своей стороны, Анна, требуя развода, мыслит по-новому. И сталкивается не только с противодействием Каренина, но и с законом, который оставался прежним, требовал «нерасторжимости». Вопрос о разводе тогда уже был поднят в обществе, как вопрос актуальный и жизненный. Это было новое веяние времени. И для современного романа оно представляло огромный сюжетный интерес. «В вопросе, поднятом в обществе о разводе, – говорилось в черновиках романа, – Алексей Александрович и официально и частно всегда был против» (20, 267). Мысль Каренина, по существу, очень близка Толстому. Поэтому легко заметить, что нередко, в особенности в сцене прощения и примирения с Вронским у постели умирающей Анны, Толстой рисует Каренина с явным сочувствием и замечает даже,

²⁴ «Отечественные записки», 1876, № 2, с. 281.

²⁵ «Дневники С.А. Толстой. 1860–1891». М., 1928, с. 37.

²⁶ Х.Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. М., 1912, с. 65.

что в те минуты, когда он находил в себе силы быть великодушным, он поднимался «на недосыгаемую высоту». Однако Алексей Александрович терпит поражение. Брак, который он хочет удержать законом, все же распадается. Остается только внешняя сторона хорошо налаженного быта. Он признается себе, что уже «ненавидит сына», которого «должен был любить в глазах людей, уважающих его» (20, 267). Поэтому Анна имела основание сказать, что он, «как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи».

«Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, – говорит Толстой, – фактом совершившимся, тогда как несчастье никогда не бывает событие, а несчастье есть жизнь, длинная жизнь несчастная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье, смысл жизни – потеряны» (20, 370). Каренин ни в чем не был виноват перед Анной, но она не пожелала разделить с ним «счастье прощения». «Я не виновата, что Бог меня создал такую, что мне нужно любить и жить», – говорит о себе Анна. Но слово «вина» не сходит у нее с языка. «Я не виновата», – повторяет она в то время, как чувство трагической вины захватывает ее. И своему мужу она ставит в вину «все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была перед ним виновата», – пишет Толстой.

Каренин стремится сохранить хотя бы обстановку счастья, но из этого ничего не получается, кроме новой лжи. Облонский был кругом виноват перед своей женой Долли. Но она приняла его покаяние, решив, что худой мир лучше доброй ссоры. Обстановка счастья была такой ценой сохранена. А смысл жизни – счастье – тоже оказался утраченным. Это стало особенно ощутимым, когда Долли с детьми приехала в имение:

«На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кровати перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи старые, четвертые – тугосиси; ни масла, ни молока даже детям не доставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, – все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, – весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их». Перечисление того, чего не было, посвящает нас в заботы, занятия и даже в образ мыслей Долли. Так могли увидеть деревенский дом в Ергушеве она и ее дети, беспомощные в большом хозяйстве без хозяина. Вся усадьба смотрит на нее как «страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался».

От проблемы семьи Толстой естественно переходил к проблеме частной собственности и государства. В этом смысле деятельность Каренина, «государственного человека», занятого писанием «никому не нужных проектов», и «распорядительность» Облонского, который привел в упадок и запустение свое наследственное достояние, представляли для него огромный интерес. То были не только романтические, но социальные и исторические подробности эпохи. Описание Ергушева в «Анне Карениной» совершенно совпадает с тем, что писал о дворянском землевладении в 70-е годы один из самых проникательных публицистов той эпохи, А. Энгельгардт. В письмах из деревни он отмечал, что «хозяйничать в настоящее время невозможно... имения ничего, кроме убытка, не дают. ...никто в деревне не живет, никто хозяйством не занимается, все служат, все разбежались, и где находятся, бог их знает».²⁷ Так раскрывалось конкретное значение общей формулы «у нас все это перевернулось и только еще укладывается...».

²⁷ «Отечественные записки», 1876, № 1, с. 85–88.

Разрушение семьи, а точнее – семейного и социального уклада дворянства, было в глазах Толстого признаком глубокого кризиса всего общества в целом. Но он не был разрушителем семейного начала. Напротив, он утверждал, что в «Анне Карениной» больше всего любил именно «мысль семейную». Ему нужен был идеал «трудолюбивой, чистой, общей и прелестной жизни». И этот идеал его герой Левин находит в народной жизни. На сенокосе Левин внимательно присматривается к Ивану Парменову. Тот принимал, разравнивал и отаптывал огромные навилыны сена, которые ему ловко подавала его молодая красавица хозяйка. «В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь». Только здесь Толстой видел гармонию и смысл жизни и обстановку счастья. «Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью, но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к своей жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную и праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Без Левина не было бы и романа. История Анны Карениной обретает свое настоящее значение в свете духовных и социальных исканий Левина. Не случайно именно Левин лучше других понимает эту трагедию. И только от него Анна «не хотела скрывать всей тяжести своего положения».

Критическое начало в романе «Анна Каренина» тем особенно сильно, что оно рельефно рисуется на глубоком фоне положительных идеалов Толстого. А его положительные идеалы неразрывно связаны с народной жизнью. Левин «точно против воли, все глубже и глубже врезался в землю, как плуг, так что уж не мог выбраться, не отворотив борозды».

5

В романе логика событий складывается таким образом, что возмездие следует по пятам за героями. Толстой говорил о нравственной ответственности человека за каждое свое слово и каждый свой поступок. К роману он взял грозный эпитаф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но он писал не притчу, не иллюстрацию к библейскому изречению, а современный роман. Некоторая «фатальность» не только социальных, но и личных отношений представлялась Толстому тайной, которую не могут понять отдельные люди, как бы они ни были умны, но которая разрешается временем, когда постепенно открывается внутренняя связь близких причин и далеких следствий. И здесь опять народная точка зрения была для Толстого определяющей. «Унижением, лишениями всякого рода им (народом) куплено дорогое право быть чистым от чьей бы то ни было крови и от суда над ближним», – пишет Толстой (20, 555). Поэтому мысль эпитафа складывается из двух основных понятий: «нет в мире виноватых» и «не нам судить». Мать Вронского сказала об Анне Карениной: «Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала себе подлую, низкую». И Кознышев ответил ей: «Не нам судить, графиня. Но я понимаю, как для вас это было тяжело».

Левин сначала, не зная Анну, строго осуждал ее. Но потом, увидев и поняв ее, задумчиво произнес: «Не то что умна, но сердечна удивительно. Ужасно жалко ее». Толстой не искал «виноватых», он старался понять, а значит, и простить «невиновных». Он не признавал за графиней Вронской и за всей «светской чернью», приготовившей «комки грязи», права быть судьей Анны. «В ответ на суд толпы лукавой скажи, что судит нас иной»,²⁸ – эта мысль Лермонтова была очень близка автору «Анны Карениной». Толстой не хотел быть ни адвокатом, ни прокурором Анны. Но был летописцем, не пропустившим ничего из трагедии ее жизни. Идея возмездия, выраженная в эпитафе, отнесена не только и даже не столько к истории Анны и Вронского, сколько ко всему обществу, которое нашло в лице Толстого своего сурового быто-

²⁸ М.Ю. Лермонтов. Оправдание. – Собр. соч., т. 1. М., 1964, с. 101.

писателя. «Во всем возмездие, во всем предел, его же не преjdeши» (48, 118). Эти слова Толстого являются ключом к художественной системе его романа.

«Толстой указывает на „Аз воздам“, – пишет Фет, – не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей».²⁹ «Сказано все то, что я хотел сказать», – заметил Толстой по поводу статьи Фета об «Анне Карениной» (62, 339).

«Анну Каренину» Толстой называл «романом широким и свободным». В основе этого определения – пушкинский термин «свободный роман». Не фабульная завершенность положений, а творческая концепция определяет выбор материала и открывает простор для развития сюжетных линий. Жанр свободного романа возник на основе преодоления литературных схем и условностей. «Я никак не могу и не умею положить вымышленным лицам известные границы – как-то женитьба или смерть, – признавался Толстой. – ... Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса» (13, 55). Роман «Анна Каренина» продолжался и после гибели его героини – Анны Карениной. Больше того, Левин на протяжении почти всего романа не видит Анну Каренину. «Связь постройки, – отмечал Толстой, – сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (62, 377). А внутренние отношения истории Анны и Левина определяются закономерностями самой жизни, взятой во всем ее историческом своеобразии. Так что история Анны неотделима от истории Левина, если говорить о романе Толстого как о художественном единстве. Смерть Анны и жизнь Левина, сумевшего преодолеть «угрозу отчаяния», в равной мере освещены светом «самобытно-нравственного» отношения Толстого к действительности. Поэтому Толстой и говорил, что «цельность художественного произведения заключается в ясности и определенности того отношения автора к жизни, которое пропитывает все произведение».³⁰ В «свободном романе» есть не только свобода, но и необходимость, так что нельзя взять из него одну какую-то часть, не нарушив целого.

«Закон природы смотрит сам // За всем...» – привел Фет строку из Шиллера, говоря об «Анне Карениной».³¹ И с этим Толстой также был согласен. Он заботился о том, чтобы сохранить живое дыхание жизни в своем произведении. И называл свой излюбленный жанр «романом широкого дыхания»: «как бы хорошо писать роман *de long halein* (широкого дыхания), освещая его теперешним взглядом на вещи» (52, 5).

Каждое новое произведение Толстого было настоящим открытием для читателя. Но оно было открытием и для автора. «Содержание того, что я писал, – признавался Толстой, – мне было так же ново, как и тем, которые читают» (65, 18).

Роман «широкого дыхания» привлекал Толстого тем, что в «просторную, вместительную раму» без напряжения входило все то новое, необычайное и нужное, что он хотел сказать людям.

Э. Бабаев

²⁹ «Литературное наследство», т. 37–38. М., 1939, с. 234.

³⁰ «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, с. 60.

³¹ «Литературное наследство», т. 37–38. М., 1939, с. 238.

Часть первая

Мне отмщение, и Аз воздам

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожителстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: *Il mio tesoro* и не *Il mio tesoro*,³² а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не

³² Мое сокровище (*итал.*).

нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга»³³, – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственной ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

³³ «...рефлексы головного мозга» ... – Книга «Рефлексы головного мозга» (1866) И.М. Сеченова (1829–1905) произвела сильное впечатление на современников. На «Рефлексы» ссылались, о них говорили и спорили всюду и все, кто знал о них хотя бы понаслышке.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевернутые, как всегда, слова, и лицо его просияло.

– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевику, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

– Слава Богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

– Одни или с супругом? – спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

– Одни. Наверху приготовить?

– Дарье Александровне доложи, где прикажут.

– Дарье Александровне? – как бы с сомнением повторил Матвей.

– Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», – понял Матвей, но он сказал только:

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

– Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, – сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

– А? Матвей? – сказал он, покачивая головой.

– Ничего, сударь, образуется, – сказал Матвей.

– Образуется?

– Так точно-с.

– Ты думаешь? Это кто там? – спросил Степан Аркадьич, услышав за дверью шум женского платья.

– Это я-с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

– Ну что, Матреша? – спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

– Ну что? – сказал он уныло.

– Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься...

– Да ведь не примет...

– А вы свое сделайте. Бог милостив, Богу молитесь, сударь, Богу молитесь.

– Ну, хорошо, ступай, – сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. – Ну, так давай одеваться, – обратился он к Матвею и решительно скинул халат.

Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное – от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его.

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету³⁴, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника – обзьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные эле-

³⁴ *Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету...* – Газету А.А. Краевского «Голос», орган либерального чиновничества, называли «барометром общественного мнения». Мысль об «упорной традиционности, тормозящей прогресс» высказана в «Листке» газеты «Голос» от 21 января 1873 г. Там же говорится о «пугливых охранителях», которым всюду мерещится «красный призрак», или «гидра о 18 тысячах головах». Возможно, что перед Толстым был именно этот номер газеты, когда он писал сцену утреннего чтения Облонского.

менты и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бенгале и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден³⁵, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

– Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, – кричала по-английски девочка, – вот подбирай!

«Все смешалось, – подумал Степан Аркадьич, – вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу.

Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.

– Что мама? – сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. – Здравствуй, – сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

– Мама? Встала, – отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», – подумал он.

– Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

– Не знаю, – сказала она. – Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

– Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, – сказал он, все-таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

– Грише? – сказала девочка, указывая на шоколадную.

– Да, да. – И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

– Карета готова, – сказал Матвей. – Да просительница, – прибавил он.

³⁵ Он прочел и о том, что граф Бейст... проехал в Висбаден... – Фридрих Фердинанд фон Бейст (1809–1886) – канцлер Австро-Венгрии, политический противник Бисмарка. Его имя часто упоминалось в политических газетных хрониках тех лет. Висбаден – курортный город в прусской провинции Гессен-Нассау.

– Давно тут? – спросил Степан Аркадьич.

– С полчасика.

– Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

– Надо же вам дать хоть кофею откушать, – сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

– Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады.

Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену.

«Ах, да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» – говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, неспособным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», – сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с припиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытой шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, – и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малую часть той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшей заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

– Долли! – сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! – подумала она, – а я?! И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», – думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

– Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

– Долли! – повторил он с дрожанием голоса. – Анна приедет нынче.

– Ну что же мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она.

– Но надо же, однако, Долли..

– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все *образуется*, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидел ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради Бога!.. Ведь... – он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле.

Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.

– Долли, что я могу сказать?.. Одно: прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут испустить минуты, минуты...

Она стояла, опустив глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее.

– Минуты... минуты увлечения... – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради Бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

– Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, – сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.

Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.

– Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, – да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторяла она, возвышая голос. – После того как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей...

– Ну что ж... Ну что ж делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово *чужой*.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.

– Это ужасно! Ужасно! – проговорил он.

В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.

«Ведь любит же она моего ребенка, – подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, – моего ребенка; как же она может ненавидеть меня?»

– Долли, еще одно слово, – проговорил он, идя за нею.

– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, – говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. – И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.

Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводиться часы», – и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: *образуется*, – подумал он. – Это надо рассказать».

– Матвей! – крикнул он, – так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, – сказал он явившемуся Матвею.

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо.

– Кушать дома не будете? – сказал провожавший Матвей.

– Как придется. Да вот возьми на расходы, – сказал он, подавая десять рублей из бумажника. – Довольно будет?

– Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, – сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?

– Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он с нею? – думала она. – Неужели он видает ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, Боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» – начала она, но не dokonчила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери.

– Уж прикажите за братом послать, – сказала она, – все он изготовит обед; а то, по-вчерашнему, до шести часов дети не евши.

– Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.

V

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, – на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним.

Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в-третьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:

– Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли...

– Получили наконец? – проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. – Ну-с, господа... – И присутствие началось.

«Если бы они знали, – думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, – каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» – И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа – перерыв и завтрак.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг открылись и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.

Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.

– После завтрака успеем кончить, – сказал Степан Аркадьич.

– Как еще успеем! – сказал Никитин.

– А плут порядочный должен быть этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.

– Кто это входил? – спросил он у сторожа.

– Какой-то, ваше превосходительство, без упроста влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда...

– Где он?

– Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал вверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходявших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.

– Так и есть! Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. – Как это ты не побрезгал найти меня в этом *вертене*? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?

– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.

– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.

Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими *постыдными* «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облон-

ский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.

Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загибающимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.

– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.

– Очень приятно, – сказал старичок.

– Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, – сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

– Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому.

– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего?

– Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, – заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, – с одной стороны, игрушки, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной coterie³⁶ наживать деньжонки³⁷.

³⁶ Здесь: шайки (франц.).

³⁷ ...с другой... стороны, это – средство для уездной coterie наживать деньжонки. – Левин высказывает мысли, весьма распространенные в радикальной демократической публицистике 70-х годов. Так, в «Отечественных записках» 1875 г. в статье «Десятилетие русского земства» говорилось: «Безотрадная черта в деятельности некоторых земств... это страсть к земской

Прежде опеки, суды, а теперь земство... не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, – говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.

– Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич. – Но, впрочем, после об этом.

– Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью взглядываясь в руку Гриневича.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.

– Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. – Так! я вижу: новая фаза.

Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчишки, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдась и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.

– Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал Левин. Облонский как будто задумался.

– Вот что: поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.

– Нет, – подумав, ответил Левин, – мне еще надо съездить.

– Ну, хорошо, так обедать вместе.

– Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.

– Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.

– Два слова вот какие, – сказал Левин, – впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.

– Что Щербацкие делают? Все по-старому? – сказал он.

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

– Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошел секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.

– Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, – сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: – Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

– Не понимаю, не понимаю, – сказал он.

– Чего ты не понимаешь? – так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.

– Не понимаю, что вы делаете, – сказал Левин, пожимая плечами. – Как ты можешь это серьезно делать?

– Отчего?

– Да оттого, что нечего делать.

– Ты так думаешь, но мы завалены делом.

– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.

– То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?

– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но все-таки я люблюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

– Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.

– А что? – испуганно спросил Левин.

– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.

– Ну хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.

– Прекрасно. Ну, до свидания.

– Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! – смеясь, прокричал Степан Аркадьич.

– Нет, верно.

И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.

– Должно быть, очень энергический господин, – сказал Гриневич, когда Левин вышел.

– Да, батюшка, – сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, – вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.

– Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?

– Да скверно, плохо, – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.

VI

Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Домá Левиных и Щербацких были старые дворянские московские домá и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственной, поэтической завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтической, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременно на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидел Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения

в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель – директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити – отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, – казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но, чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком.

Слышал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII

Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета; но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недо-разумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столкнуться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?³⁸

Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор.

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.

Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного³⁹, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с душевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.

– Я не могу допустить, – сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, – я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие *бытия* получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.

– Да, но они, Вурст, и Кнауэст, и Припасов⁴⁰, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.

– Я скажу наоборот, – начал Сергей Иванович...

³⁸ Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она? – Толстой имеет в виду «жаркую полемику», которая развернулась в 1875 г. на страницах «Вестника Европы», где К.Д. Кавелин (1818–1885) напечатал работу «Задачи психологии» (1872), а И.М. Сеченов ответил ему статьей «Кому и как разрабатывать психологию» (1873). К.Д. Кавелин утверждал, что «непосредственной связи между психическими и материальными явлениями мы не знаем». И.М. Сеченов доказывал, что «все психические акты», совершающиеся «по типу рефлексов», должны подлежать «физиологическому исследованию».

³⁹ Левин встречал в журналах статьи... о происхождении человека как животного... – Книга Чарльза Дарвина (1809–1882) «Происхождение человека и подбор по отношению к полу» в русском переводе вышла в свет в 1871 г. (т. I, II. Перевод с английского под редакцией И.М. Сеченова. СПб., 1871). Пространные статьи о теории Дарвина печатались в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Русском вестнике». О Дарвине много писал Н.Н. Страхов (1828–1896). В 1874 г. Толстой благодарил его «за присылку статьи о Дарвине». Страхов так же, как Левин, «искал ответов не на вопросы знания, а на вопросы сердца». Толстой впоследствии признавался, что его самого, как Левина, дарвинизм «натолкнул на противоположный путь – духовный».

⁴⁰ Кейс, Ло Вурст, Кнауэст и Припасов – имена вымышленные и пародийные.

Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос.

– Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? – спросил он.

Профессор с досадой и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: что ж тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:

– Этот вопрос мы не имеем еще права решать...

– Не имеем данных, – подтвердил профессор и продолжал свои доводы. – Нет, – говорил он, – я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.

VIII

Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:

– Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство?

Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.

Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговор с профессором, когда услышал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделимое, и Левин заведовал обеими частями), Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.

– Ну, что у вас земство, как? – спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.

– А, право, не знаю...

– Как? Ведь ты член управы?

– Нет, уже не член; я вышел, – отвечал Константин Левин, – и не езжу больше на собрания.

– Жалко! – промолвил Сергей Иванович, нахмурившись.

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.

– Вот это всегда так! – перебил его Сергей Иванович. – Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта – способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, – немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.

– Но что же делать? – виновато сказал Левин. – Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.

– Не способен, – сказал Сергей Иванович, – ты не так смотришь на дело.

– Может быть, – уныло отвечал Левин.

– А ты знаешь, брат Николай опять тут.

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, враждавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

– Что ты говоришь? – с ужасом вскрикнул Левин. – Почему ты знаешь?

– Прокофий видел его на улице.

– Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? – Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.

– Я жалею, что сказал тебе это, – сказал Сергей Иваныч, покачивая головой на волнение меньшего брата. – Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.

И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье.

Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин».

Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно.

– Он, очевидно, хочет оскорбить меня, – продолжал Сергей Иванович, – но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.

– Да, да, – повторял Левин. – Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему.

– Если тебе хочется, съезди, но я не советую, – сказал Сергей Иванович. – То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной, но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь.

– Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту – ну да это другое, – я чувствую, что я не могу быть спокоен.

– Ну, этого я не понимаю, – сказал Сергей Иванович. – Одно я понимаю, – прибавил он, – это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал...

– Ах, это ужасно, ужасно! – повторял Левин.

Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствии Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.

IX

В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.

Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.

Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое», – обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, шеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

– А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

– У меня и коньков нет, – отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.

Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что

всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.

– Давно ли вы здесь? – сказала она, подавая ему руку. – Благодарствуйте, – прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.

– Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, – отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. – Я хотел к вам ехать, – сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. – Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

– Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, – сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.

– Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

– Вы все, кажется, делаете со страстью, – сказала она, улыбаясь. – Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» – думал Левин, глядя на нее.

– Сейчас надену, – сказал он.

И он пошел надевать коньки.

– Давно не бывали у нас, сударь, – говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. – После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? – говорил он, натягивая ремень.

– Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, – отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, – думал он, – вот это жизнь, вот это счастье! *Вместе*, сказала она, *давайте кататься вместе*. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»

Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

– С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, – сказала она ему.

– И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, – сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.

– У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, – быстро проговорил он.

– Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, – отвечала она холодно и тотчас же прибавила: – Вы не видели mademoiselle Linon?

– Нет еще.

– Подите к ней, она так вас любит.

«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» – подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми буколями, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга.

– Да, вот растем, – сказала она ему, указывая глазами на Кити, – и стареем. Tiny bear⁴¹ уже стал большой! – продолжала француженка, смеясь, и напонила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. – Помните, вы, бывало, так говорили?

Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.

– Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?

Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.

– Неужели вам не скучно зимою в деревне? – сказала она.

– Нет, не скучно, я очень занят, – сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.

– Вы надолго приехали? – спросила его Кити.

– Я не знаю, – отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддается этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

– Как не знаете?

– Не знаю. Это от вас зависит, – сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатила прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сделал! Господи Боже мой! помоги мне, научи меня», – говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаюсь и выписывая внешние и внутренние круги.

В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покати́лся по льду.

– Ах, это новая штука! – сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.

– Не убейтесь, надо привычку! – крикнул ему Николай Щербацкий.

Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покати́лся дальше.

«Славный, милый», – подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» – думала она.

Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, покрасневший после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.

– Очень рада вас видеть, – сказала княгиня. – Четверги, как всегда, мы принимаем.

– Стало быть, нынче?

– Очень рады будем видеть вас, – сухо сказала княгиня.

⁴¹ Медвежонок (англ.).

Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:

– До свидания.

В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.

– Ну что ж, едем? – спросил он. – Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, – сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.

– Едем, едем, – отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.

– В «Англию»⁴² или в «Эрмитаж»?

– Мне все равно.

– Ну, в «Англию», – сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. – У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.

Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, непохожим на того, каким он был до ее улыбки и слова *до свидания*.

Степан Аркадьич дорогой сочинял *меню*.

– Ты ведь любишь тюрбо⁴³? – сказал он Левину, подъезжая.

– Что? – переспросил Левин. – Тюрбо? Да, я *ужасно* люблю тюрбо.

⁴² «Англия» – московская гостиница с роскошно меблированными номерами на Петровке. Пользовалась дурной репутацией.

⁴³ *Тюрбо* – блюдо французской кухни (особым образом приготовленная рыба калкан), ценившееся гурманами.

Х

Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенностью выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшему к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, *poudre de riz* и *vinaigre de toilette*.⁴⁴ Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.

– Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста, здесь не беспокоят, ваше сиятельство, – говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. – Пожалуйста шляпу, ваше сиятельство, – говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая и за его гостем.

Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.

– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

– А! устрицы.

Степан Аркадьич задумался.

– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри!

– Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.

– Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?

– Вчера получены-с.

– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

– Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

– Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

– Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, – прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями...

– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» – и тотчас, как на

⁴⁴ рисовой пудры и туалетного уксуса (*франц.*).

пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.

- Что же пить будем?
- Я что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.
- Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белою печатью?
- Каше блан, – подхватил татарин.
- Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
- Слушаю-с. Столового какого прикажете?
- Ньюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.
- Слушаю-с. Сыру *вашего* прикажете?
- Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?
- Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.

И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.

– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. – Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.

Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам⁴⁵, с заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар – все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.

– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, – сказал он. – Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя...

– Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Не могу, – отвечал Левин. – Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

– Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум...

– Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: из всего сделать наслаждение.

– Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.

⁴⁵ *Разлтые рюмки* – высокие и плоские рюмки для шампанского.

– Ты и так дик. Вы все, Левины, дики.

Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.

– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.

– Да, я непременно поеду, – отвечал Левин. – Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.

– Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, *grand dame*,⁴⁶ – сказал Степан Аркадьич. – Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает.

– Да, – сказал Левин медленно и взволнованно. – Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал.

– О, какой ты счастливец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

– Отчего?

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам⁴⁷, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.

– А у тебя разве уж назади?

– Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пересяпочку.

– А что?

– Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, – сказал Степан Аркадьич. – Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! – крикнул он татарину.

– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?

– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен...

– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.

– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

– Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

– Да, всякая девушка, но не она.

⁴⁶ важной дамы (*франц.*).

⁴⁷ *Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам...* – У Пушкина («Анакреон»): «Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам...»

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

– Постой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу.

– Нет, ты постой, постой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобой. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради Бога, будь вполне откровенен.

– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу; моя жена – удивительнейшая женщина... – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Brentельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.

– То есть как?

– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.

– Хорошо, но садись же, вот и суп.

Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

– Для чего же ты уезжал?

– Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

– Ну, у тебя грехов немного.

– Ах, все-таки, – сказал Левин, – все-таки, «с отвращением читая жизнь мою»⁴⁸, я трепещу и проклинаю, и горько жалеюсь...». Да.

– Что ж делать, так мир устроен, – сказал Степан Аркадьич.

– Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.

⁴⁸ «...с отвращением читая жизнь мою...» – Из стихотворения Пушкина «Воспоминание». «Эти стихи, – говорил Толстой, – и таких стихов пять, много десять на всем свете» («Сборник воспоминаний о Л.Н. Толстом». М., 1911, с. 167).

XI

Левин выпил свой бокал, и они помолчали.

– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.

– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.

– Зачем мне знать Вронского?

– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

Левин хмурился и молчал.

– Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать...

– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.

– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор.

– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог...

– Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, – сказал Левин.

Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его *особенное* чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.

– Приеду когда-нибудь, – сказал он. – Да, брат, женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.

– Но в чем же?

– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...

– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач⁴⁹.

⁴⁹ ...пошел мимо калачной и украл бы калач. – В «Отечественных записках» за 1866 г. в статье М. Стебницкого (Н. Лес-

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.
– Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.

Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen⁵⁰
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn's nicht gelungen,
Hatt'ich auch recht hübsch Plaisir!⁵¹

Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

– Да, но без шуток, – продолжал Облонский. – Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, – ты пойми, – неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?

– Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал⁵² и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же.

– А евангельская?

– Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изю всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.

– Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин⁵³, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта – не ответ. Что же делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! – с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.

Левин усмехнулся.

– Да, и пропал, – продолжал Облонский. – Но что же делать?

– Не красть калачей.

Степан Аркадьич рассмеялся.

– О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.

– Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»⁵⁴, обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди

кова) «Русский драматический театр в Петербурге», посвященной нашумевшей пьесе Н. Чернявского «Гражданский брак», «свободная любовь» сравнивалась с воровством.

⁵⁰ *Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen...* – Куплет из оперетты Йоганна Штрауса «Летучая мышь» (1874).

⁵¹ Великолепно, если я поборол свою земную страсть; Но если это и не удалось, Я все же испытал блаженство! (*нем.*)

⁵² *Я прелестных падших созданий не видал...* – Из пушкинского «Пира во время чумы». У Пушкина: «Прелестное, но падшее создание» (слова Вальсингама).

⁵³ ...*Это все равно, как этот диккенсовский господин...* – Речь идет о герое романа Диккенса «Наш общий друг» мистере Подснепе, который «даже выработал себе особый жест: правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов (и тем совершенно их устранял) – с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло» (Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1962, с. 158).

⁵⁴ ...*обе любви, которые... Платон определяет в своем «Пире».* – Платон (427–347 гг. до н. э.) в «Симпозионе» («Пире») утверждает, что есть два рода любви, как и две Афродиты: любовь земная, чувственная (Афродита-Пандемос), и любовь

понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что...

В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:

– А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть... Но я не знаю, решительно не знаю.

– Вот видишь ли, – сказал Степан Аркадьич, – ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света.

Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.

И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

– Счет! – крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.

Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.

небесная, свободная от чувственных желаний (Афродита-Урания) (Сочинения Платона, ч. IV. СПб., 1863, с. 162). По имени старшей «чистая» любовь получила название «небесной» или «платонической».

XII

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский.

Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию.

Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать.

Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении.

Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидел невесту, и его увидели; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело — выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшей, переживались те же страхи, те же сомнения и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоприятно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити

составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы⁵⁵, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», – думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай – родителям решать судьбу детей – был не принят, осуждался. Английский обычай – совершенной свободы девушки – был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми.

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушке и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню, но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», – сказал он.

Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения; однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, сбравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию.

– Что он, давно ли приехал? – сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

– Нынче, мама.

– Я одно хочу сказать... – начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.

⁵⁵ ...сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы... – 1 ноября 1872 г. в Москве открылись Высшие женские курсы проф. В.И. Герье (1837–1919). Различного рода общества и курсы (юридические, литературные и медицинские) существовали и в Петербурге. Такого рода курсы и общества представляли собой удобную почву для приложения «идеалов свободы того поколения, которое стало молодым по уничтожении крепостного права» («Отечественные записки», 1875, IX, с. 96).

– Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...

– Мама, голубчик, ради Бога, не говорите. Так страшно говорить про это.

– Не буду, не буду, – сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, – но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?

– Никогда, мама, никакой, – отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. – Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я не знаю...

«Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», – подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

ХІІІ

Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться.

Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, – не в нем, он был очень прост и мил, – но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще-счастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною.

Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений.

В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», – подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.

Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, – с кем она будет счастлива и кого она любит, – но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко... За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.

«Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему? – подумала она. – Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».

Она уже подходила к дверям, когда услышала его шаги. «Нет! нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», – сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку.

– Я не вовремя, кажется, слишком рано, – сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно.

– О, нет, – сказала Кити и села к столу.

– Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, – начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости.

– Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда.

Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

– Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит...

Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.

– Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил; но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:

– Этого не может быть... простите меня...

Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!

– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее.

Он поклонился и хотел уйти.

XIV

Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава Богу, отказала», – подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно.

Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон.

Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним.

– Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: *снисходит* до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, – говорила она о нем.

Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, – за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим.

Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.

– А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, – сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. – Что, Вавилон исправился или вы испортились? – прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

– Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, – отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. – Верно, они на вас очень сильно действуют.

– Ах, как же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?..

И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему:

– Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго.

– Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, – сказал он. – Я приехал на несколько дней.

«Что-то с ним нынче особенное, – подумала графиня Нордстон, взглядывая в его строгое, серьезное лицо, – что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю».

– Константин Дмитрич, – сказала она ему, – растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, – вы всё это знаете, – у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков.

В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал.

– Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, – сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного.

«Это должен быть Вронский», – подумал Левин и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это за человек?

Теперь, – хорошо ли это, дурно ли, – Левин не мог не остаться; ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.

Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное; есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежесвыбритого подбородка до широкого с иголки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити.

В то время как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметною счастливою и скромно-торжествующею улыбкой (так показалось Левину), почти-тельно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.

Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина.

– Позвольте вас познакомить, – сказала княгиня, указывая на Левина. – Константин Дмитрич Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский.

Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.

– Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, – сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, – но вы неожиданно уехали в деревню.

– Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, – сказала графиня Нордстон.

– Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, – сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел.

Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся.

– А вы всегда в деревне? – спросил он. – Я думаю, зимой скучно?

– Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно, – резко отвечал Левин.

– Я люблю деревню, – сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечал тона Левина.

– Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне, – сказала графиня Нордстон.

– Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, – продолжал он. – Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как...

Он говорил, обращаясь и к Кити и к Левину и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, – говорил, очевидно, что приходило в голову.

Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее.

Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас, на случай неимения темы, два тяжелых орудия: классическое и реальное образование и общую

воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина.

Левин хотел и не мог вступить в общий разговор; ежеминутно говоря себе: «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь.

Разговор зашел о вертящихся столах и духах⁵⁶, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела.

– Ах, графиня, непременно свезите, ради Бога, свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, – улыбаясь, сказал Вронский.

– Хорошо, в будущую субботу, – отвечала графиня Нордстон. – Но вы, Константин Дмитрич, верите? – спросила она Левина.

– Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу.

– Но я хочу слышать ваше мнение.

– Мое мнение только то, – отвечал Левин, – что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы...

– Что ж, вы не верите?

– Не могу верить, графиня.

– Но если я сама видела?

– И бабы рассказывают, как они сами видели домовых.

– Так вы думаете, что я говорю неправду?

И она невесело засмеялась.

– Да нет, Маша, Константин Дмитрич говорит, что он не может верить, – сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным.

– Вы совсем не допускаете возможности? – спросил он. – Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...

– Когда найдено было электричество, – быстро перебил Левин, – то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная.

Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно интересуясь его словами.

– Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...

– А потому, – опять перебил Левин, – что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление.

Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостининой характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам.

– Давайте сейчас попробуем, графиня, – начал он; но Левин хотел досказать то, что он думал.

⁵⁶ *Разговор зашел о вертящихся столах и духах...* – В 1875 г. в журнале «Русский вестник» были напечатаны статьи о спиритизме: «Медиумизм» проф. Н.П. Вагнера (1829–1907) и «Медиумические явления» проф. А.М. Бутлерова (1828–1886). «Меня статьи в „Русском вестнике“ страшно волновали», – говорил Толстой (62, 235). Критику спиритизма он начал в «Анне Карениной», затем продолжил в «Плодах просвещения» (1890).

– Я думаю, – продолжал он, – что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какой-то новой силой – самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту.

Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это.

– А я думаю, что вы будете отличный медиум, – сказала графиня Нордстон, – в вас есть что-то восторженное.

Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал.

– Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста, – сказал Вронский. – Княгиня, вы позволите?

И Вронский встал, отыскивая глазами столик.

Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретила глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастии, которого сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, – сказал ее взгляд, – я так счастлива».

«Всех ненавижу, и вас, и себя», – отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину.

– А! – начал он радостно. – Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть.

Старый князь иногда «ты», иногда «вы» говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему.

Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела.

– Князь, отпустите нам Константина Дмитрича, – сказала графиня Нордстон. – Мы хотим опыт сделать.

– Какой опыт? столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть, – сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. – В колечке еще есть смысл.

Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.

– Я надеюсь, что вы будете? – обратился он к Кити.

Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

XV

Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано *предложение*. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно-уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем; вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата», – говорила она себе; но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, – она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» – говорила она про себя, пока заснула.

В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех, часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь.

– Что? Вот что! – кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. – То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!

– Да помилуй, ради самого Бога, князь, что я сделала? – говорила княгиня, чуть не плача.

Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то, на эти слова, князь вдруг вспыхнул и начал выкрикивать неприличные слова.

– Что вы сделали? А вот что: во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих *тютюков* (так князь называл московских молодых людей), позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, – женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну статью, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается!

– Да что же я сделала?

– А то... – с гневом вскрикнул князь.

– Знаю я, что если тебя слушать, – перебила княгиня, – то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.

– И лучше уехать.

– Да постой. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек, и очень хороший, влюбился, и она, кажется...

– Да, вот вам кажется! А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я?.. Ох! не смотрели бы мои глаза!.. «Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале...» – И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. – А вот, как сделаем несчастье Катеньки, как она в самом деле заберет в голову...

– Да почему же ты думаешь?

– Я не думаю, я знаю; на это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться.

– Ну, уж ты заберешь в голову...

– А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.

– Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, – остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.

– И прекрасно, и прощай!

И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись.

Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского, но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!»

XVI

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.

Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.

В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою, милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему и в голову не приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманивание барышень без намерения жениться и что это заманивание есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и наслаждался своим открытием.

Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться.

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более – смешное. Но хотя Вронский и не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать.

«То и прелестно, – думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и оттого, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления пред ее к себе любовью, – то и прелестно, что ничего не сказано ни мной, ни ею, но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что нынче яснее, чем когда-нибудь, она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво! Я сам себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: *и очень ...*»

«Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер.

Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. «Клуб? партия безика⁵⁷, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. *Château des fleurs*⁵⁸, там найду Облонского, куплеты,

⁵⁷ *Безик* (Besique – франц.) – карточная игра XVII в., которая снова входила в моду в 70-е годы. У двух игроков одновременно находятся две колоды по 32 карты.

⁵⁸ *Château des fleurs* – увеселительное заведение, устроенное по типу парижского кафешантана. В Москве «Шато де флер» содержал антрепренер Беккер в Петровском парке.

сапан? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном.

XVII

На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.

– А! Ваше сиятельство! – крикнул Облонский. – Ты за кем?

– Я за матушкой, – улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. – Она нынче должна быть из Петербурга.

– А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербацких?

– Домой, – отвечал Вронский. – Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину.

Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор.

– А ты кого встречаешь? – спросил он.

– Я? я хорошенькую женщину, – сказал Облонский.

– Вот как!

– *Nonni soit qui mal у pense!*⁵⁹ Сестру Анну.

– Ах, это Каренину? – сказал Вронский.

– Ты ее, верно, знаешь?

– Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, – рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

– Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает.

– То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... *not in my line*,⁶⁰ – сказал Вронский.

– Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, – заметил Степан Аркадьич, – славный человек.

– Ну, и тем лучше для него, – сказал Вронский, улыбаясь. – А, ты здесь, – обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери, – войди сюда.

Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадьича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити.

– Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для *дивы*? – сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку.

– Непременно. Я сберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? – спросил Степан Аркадьич.

– Как же. Но он что-то скоро уехал.

– Он славный малый, – продолжал Облонский. – Не правда ли?

– Я не знаю, – отвечал Вронский, – отчего это во всех москвичах, разумеется исключая тех, с кем говорю, – шутливо вставил он, – есть что-то резкое. Что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то...

– Есть это, правда, есть... – весело смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Что, скоро ли? – обратился Вронский к служащему.

⁵⁹ Стыдно тому, кто это дурно истолкует! (*франц.*)

⁶⁰ не в моей компетенции (*англ.*).

– Поезд вышел, – отвечал служитель.

Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артельщиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.

– Нет, – сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. – Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, – с значительной улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. – Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.

Вронский остановился и прямо спросил:

– То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей *belle soeur*?..⁶¹

– Может быть, – сказал Степан Аркадьич. – Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так... Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.

– Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, – сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. – Впрочем, я его не знаю, – прибавил он. – Да, это тяжелое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь – твое достоинство на весах. Однако вот и поезд.

Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшей собакой, наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны.

Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо.

Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем.

– Графиня Вронская в этом отделении, – сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.

⁶¹ свояченице (*франц.*)

XVIII

Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходящей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке.

Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букольками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.

– Получил телеграмму? Здоров? Слава Богу.

– Хорошо доехали? – сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретила его при входе.

– Я все-таки с вами не согласна, – говорил голос дамы.

– Петербургский взгляд, сударыня.

– Не петербургский, а просто женский, – отвечала она.

– Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.

– До свиданья, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, – сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.

– Что ж, нашли брата? – сказала Вронская, обращаясь к даме.

Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина.

– Ваш брат здесь, – сказал он, вставая. – Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, – сказал Вронский, кланяясь, – что вы, верно, не помните меня.

– О, нет, – сказала она, – я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, – сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. – А брата моего все-таки нет.

– Позови же его, Алеша, – сказала старая графиня.

Вронский вышел на платформу и крикнул:

– Облонский! Здесь!

Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его, решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своею решительностью и грацией, обхватила брата левою рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная чему, улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.

– Не правда ли, очень мила? – сказала графиня про Каренину. – Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят... *vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux.*⁶²

– Я не знаю, на что вы намекаете, тамап, – отвечал сын холодно. – Что ж, тамап, идем. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней.

– Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, – весело сказала она. – И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать.

– Ну нет, милая, – сказала графиня, взяв ее за руку, – я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться.

Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.

– У Анны Аркадьевны, – сказала графиня, объясняя сыну, – есть сыночек восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.

– Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, – сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.

– Вероятно, это вам очень наскучило, – сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине:

– Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свиданья, графиня.

– Прощайте, мой дружок, – отвечала графиня. – Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас.

Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с тою же улыбкой, волновавшеюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.

– Очень мила, – сказала старушка.

То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным.

– Ну, что, тамап, вы совершенно здоровы? – повторил он, обращаясь к матери.

– Все хорошо, прекрасно. *Alexandre* очень был мил. И *Marie* очень хороша стала. Она очень интересна.

И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну.

– Вот и Лаврентий, – сказал Вронский, глядя в окно, – теперь пойдемте, если угодно.

Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти.

– Пойдемте, теперь мало народа, – сказал Вронский.

Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик другие мешки. Вронский взял под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад.

– Что?.. Что?.. Где?.. Бросился!.. задавило!.. – слышалось между проходившими.

⁶² у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше (*франц.*).

Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастья.

Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слышал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили.

Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.

Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.

– Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! – приговаривал он.

Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно.

– Ах, если бы вы видели, графиня, – говорил Степан Аркадьич. – И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас!

– Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? – взволнованным шепотом сказала Каренина.

Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона.

– Я сейчас приду, мама, – прибавил он, обертываясь в дверях.

Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына.

– Теперь пойдёмте, – сказал Вронский, входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции.

– Вы передали моему помощнику двести рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их?

– Вдове, – сказал Вронский, пожимая плечами. – Я не понимаю, о чем спрашивать.

– Вы дали? – крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил: – Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня.

И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку.

Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось.

– Вот смерть-то ужасная! – сказал какой-то господин, проходя мимо. – Говорят, на два куска.

– Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, – заметил другой.

– Как это не примут мер, – говорил третий.

Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидел, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.

– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.

– Дурное предзнаменование, – сказала она.

– Какие пустяки! – сказал Степан Аркадьич. – Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.

– А ты давно знаешь Вронского? – спросила она.

– Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.

– Да? – тихо сказала Анна. – Ну, теперь давай говорить о тебе, – прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. – Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и вот приехала.

– Да, вся надежда на тебя, – сказал Степан Аркадьич.

– Ну, расскажи мне все.

И Степан Аркадьич стал рассказывать.

Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.

XIX

Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман.

– Успокой ты руки, Гриша, – сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.

Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская *grande dame*. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет золовка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, – думала Долли. – Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! – думала Долли. – Все утешения и увещания, и прощения христианские – все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится».

Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения.

Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка.

Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку.

– Как, уж приехала? – сказала она, целуя ее.

– Долли, как я рада тебя видеть!

– И я рада, – слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», – подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. – Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения.

– Это Гриша? Боже мой, как он вырос! – сказала Анна и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. – Нет, позволь никуда не ходить.

Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса.

– А ты сияешь счастьем и здоровьем! – сказала Долли почти с завистью.

– Я?.. Да, – сказала Анна. – Боже мой, Таня! Ровесница Сереже моему, – прибавила она, обращаясь ко вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. – Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех.

Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого.

– Ну, так пойдем к ним, – сказала она. – Вася спит теперь, жалко.

Осмотрев детей, они сели, уже одни, в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его.

– Долли, – сказала она, – он говорил мне.

Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала.

– Долли, милая! – сказала она, – я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой!

Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергической маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала:

– Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало!

И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:

– Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? – вот о чем надо подумать.

– Все кончено, и больше ничего, – сказала Долли. – И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его.

– Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все.

Долли посмотрела на нее вопросительно.

Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны.

– Изволь, – вдруг сказала она. – Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием тамап не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... – она поправилась, – Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг... – продолжала Долли, удерживая рыдания, – и получить письмо... письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! – Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. – Я понимаю еще увлечение, – продолжала она, помолчав, – но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?.. Продолжать быть моим мужем вместе с нею... это ужасно! Ты не можешь понять...

– О нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, – говорила Анна, пожимая ее руку.

– И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? – продолжала Долли. – Нисколько! Он счастлив и доволен.

– О, нет! – быстро перебила Анна. – Он жалок, он убит раскаяньем...

– Способен ли он к раскаянью? – перебила Долли, внимательно глядя в лицо золовки.

– Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) – его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, – поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, – сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», все говорит он.

Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова.

– Да, я понимаю, что положение его ужасно; виноватому хуже, чем невинному, – сказала она, – если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить, как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье, именно потому, что я любила его, так любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему...

И рыдания перервали ее слова.

Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее.

– Она ведь молода, ведь она красива, – продолжала она. – Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчивали, – ты понимаешь? – Опять ненавистью зажглись ее глаза. – И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук... Ты согласишься ли? Я сейчас учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученье. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и...

– Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так.

Долли затихла, и они минуты две помолчали.

– Что делать, придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки.

– Я одно скажу, – начала Анна, – я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.

– Нет, он понимает, он понимал! – перебила Долли. – Но я... ты забываешь меня... разве мне легче?

– Постой! Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена; мне его жалко было, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, – настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

– Нет, – начала Долли; но Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку.

– Я больше тебя знаю свет, – сказала она. – Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с *ней* говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена – это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так.

– Да, но он целовал ее...

– Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе, и какая поэзия и высота была ты для него, и я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его...

– Но если это увлечение повторится?

– Оно не может, как я понимаю...

– Да, но ты простила бы?

– Не знаю. Я не могу судить... Нет, могу, – сказала Анна, подумав; и, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила: – Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было.

– Ну, разумеется, – быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, – иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. Ну пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. – Милая моя, как я рада, что ты приехала, как я рада. Мне легче, гораздо легче стало.

XX

Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтоб он непременно обедал дома. «Приезжай, Бог милостив», писала она.

Облонский обедал дома; разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужденность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьич видел возможность объяснения и примирения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.